



12+

Салохидинова Лидия

Русская печка

Рассказы. Повесть

Лидия Салохидинова

Русская печка. Сборник рассказов

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Салохидинова Л. П.

Русская печка. Сборник рассказов / Л. П. Салохидинова —
«ЛитРес: Самиздат», 2019

Сборник доставит большое наслаждение тем, кто любит деревню. Рассказы о трепетном и нежном отношении людей друг к другу, к семье, природе; о настоящей дружбе, умении понимать друг друга, быть рядом при любых обстоятельствах; о простоте деревенского быта.

© Салохидинова Л. П., 2019

© ЛитРес: Самиздат, 2019

Содержание

Русская печка	5
Богатая и красивая	10
По ягоды	14
Подруги	18
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Русская печка

Рассказ

Небольшой городок в советском Таджикистане. Улица Садовая, она без труда оправдывала свое название. Вдоль улицы – победно-горделивые пирамидальные тополя, устремленные космическими ракетами ввысь, и, словно алюминиевые, матово поблескивали крупные листья дерев. Вдоль арыка росла дикарка алыча. Потому дикарка, что ее здесь никто не высаживал, не культивировал, – сама росла. Раскидистые шатры алычи по весне, лишь только запоят лягушки и от того, по местной народной примете, враз, издрябнет редька в темной комнате, радовали взгляд буйством белых с розовой середкой цветов. А уже к июлю редкими спелыми плодами – ягоды были объедены ребятей еще зелеными. От одного упоминания об алыче вяжет язык, сводит в оскомине скулы. Развесив крону, весной, подчеркивая свою избранность, царственно-пурпурно цветет гранат. По осени, словно застрявшие кометы, на деревьях висят огненно-красные плоды, со временем они блекнут, становятся коричневыми и затвердевают, словно остывшие кометы. Яблони, прельщая взгляд, под тяжестью плодов переваливаются через заборы. Красавицы-таджички, кокетливо играя-подергивая сурьмленными бровями, изящно, как и подобает красавицам, будут по осени снимать плоды.

В центре улицы несколько домов подряд занимали татарские семьи. Мы с мужем снимали комнату в этом татарском околотке, в саманном доме на два хозяина, вернее на две хозяйки – жили в этих половинках одинокие женщины преклонных лет. Нашу хозяйку звали баба Фая, ей восемьдесят два года. «Казанские мы...» – при знакомстве сказала бабушка. Старая женщина была полной и одета всегда в просторное ситцевое платье, расширяющиеся от груди; на голове светлый посадский платок, он повязывался, не складываясь угол на угол, и поэтому разлетался при ходьбе за плечами, как крылья. Ходила она по двору переваливаясь с ноги на ногу, как большая, неизвестной породы птица. По двору бегала, так же, как хозяйка, переваливаясь с ноги на ногу, старая беспородная собачонка. Зато звали эту собачонку, как английского принца, – Чарли. Но вскоре бабушка Фая и все ее многочисленные родственники: сын, сноха, две дочери, зятья и внуки с легкостью стали называть собаку – Чебурашка. Они, как-то дружно и весело переключились на новую кличку, как – будто всю жизнь и ждали: вот приеду я, и перекрещу, как расколдую, их собачонку.

Двор был поделен асфальтированной дорожкой на две половины. У края дорожки с ранней весны стоял небольшой кумган, в нем, нагретая от солнца, всегда была вода. Бабушка регулярно совершала омовения и молитвы. Вдоль дорожки, по обе ее стороны, – разных сортов, и поэтому цвели все лето до самых заморозков, – розы. Правая сторона двора-сада была по южному классической: при выходе из дома росла высокая раскидистая яблоня, под нею, вкопанный в землю, стол. Часто мы втроем до сумерек сидели под яблонькой, разговаривали, пили, утоляя жажду, зеленый чай, – швыркали голиком, как сказала бы моя родная бабушка, – баба Фрося.

Над нами яблочный дух, – густой и вязкий. Наплывал, переплетаясь, плотный бархатный запах базилика и терпкий запах атласной кинзы, плавно вплетался тягучий шелковый запах роз; параллельно, по касательной, легкий, словно гарус, едва уловимый запах тмина. С предгорий прохладный ветерок доносил смолистый запах можжевельника, а совсем из далека, из Каракумской пустыни, – ветер-суховей нес запах раскаленного песка. Мне так хорошо было рядом с милым. И казалось, что и с моих родных далеких мест доносилось смородиновое благоухание и влажный, пропитанный дождями, дух земли.

Бабушка уходила творить молитвы, а мы с мужем еще долго сидели, наслаждаясь друг другом. Вечерний охлажденный воздух отяжелял пылью, витающую в воздухе – она садилась

на легкие наши одежды, на волосы, лицо, шею, руки... Мы становились сладкими и прилипали друг к другу на всю ночь.

Следом за яблоней высаживалась зелень, – укроп, кинза, базилик, и несколько кустов помидор. В конце двора-сада опять шли посадки: куст вишни и два куста персиков, один взрослый, плодоносящий, другой, – отросток-отрок. В самом углу двора, как бы из-под забора, воробато и виновато, потому что самозванец, – абрикосовое дерево. На нем четырехлетняя внучка хозяйки, полненькая и на первый взгляд неуклюжая, Гульнара проворно лазила, ну прямо, как кошка. Кошка это часто была ободранной: трещал и рвался подол платья, оставались и красные штрихи-пометки, – мол, опять, де, лазила, – на руках и ногах девочки. Один сук, крепкий и надежный, позволял малышке выделывать довольно сложные кульбиты, она висела на нем диковинным фруктом, кувыркалась, а то возлежала, отдыхая, подставив под свою круглую симпатичную мордашку ладонь.

Абрикосовое деревце, словно боясь, что его срубят, каждый год давало щедрый урожай. Поспевшие плоды абрикоса бабушка особо не жаловала. Ежедневно, по-хозяйски, обходя свой двор, она срывала с горсть уже переспевших абрикосин, – до того переспевших, что на солнце они просвечивались, словно рентгеном, и были видны овальные косточки, – и небрежно забрасывала, входя в дом, на навес над дверью. Там и сушились абрикосы. Гульнарка, очередной раз придя попроведать бабушку, видя, что абрикосы бабушка не собирает, говорила с большой обидой за свое любимое дерево:

– Аби, ну почему вы не любите абрикосы?.. не собираете...

И не дождавшись ответа:

– Я возьму кисайку?

И, взяв большую чашку, шла в угол двора, собирать абрикосы. И насколько хватало маленькой девочке терпения, срывала поспевшие, практически, сами, словно золотые слитки, падающие в руки, плоды. Кисайку с абрикосами она уносила с собой, что уж делала с плодами: съедала все сама, делилась ли с братьями, а может, идя домой, раздавала друзьям-подружкам.

Та часть абрикосового дерева, которая смотрела на соседский двор, обобиралась, объедалась их многочисленной детворой.

Вторая половина двора-сада – осколок среднерусской равнины: под окном росла... малина, и это было большим откровением тоскующей души родом из заснеженной России. Сразу же за малинником располагался небольшой дровник с пахучими маленькими полешками. За дровником – курятник. Куры были пестренькими, как и в моем родном родительском дворе, словно яйца на развод бабушка Фая брала у моей мамы. За курятником – банька.

Когда мы с мужем по утрам уходили на работу, старая хозяйка выходила, как родных, проводить нас. Сразу же, от калитки мы переходили добротной асфальтированную дорогу и оказывались у проулка. Девочка таджичка, подметавшая веником у своего забора, поднимала голову, с нескрываемым любопытством и восхищением смотрела на нас. Ей лет семь, она в платье радужной расцветки и такого же цвета национальных штанишках, – видно ата-отец достал своей ненаглядной доченьке радугу с неба на пошив наряда. Проулок вел нас на главную улицу города. Эта улица с такой же легкостью могла называться Садовой, а называлась, как и все, практически, главные улицы советских городов – Ленина. Наискось от проулка было учреждение, в котором я служила. Здесь мы с мужем прощались до вечера и расходились. Все время, пока мы не скрывались из вида, бабушка стояла у калитки.

Однажды утром, вот также выходя втроем за калитку, мы столкнулись со старшей дочерью хозяйки. Гузель Садыковна, – так звали сорока пятилетнюю дочь бабушки, она в городе уважаемый человек, – главный бухгалтер крупного предприятия. Женщина вопросительно взглянула на мать, ревниво на меня и мужа, и молча прошла в калитку. По-моему, между дочерью и матерью все же состоялся разговор, уж очень красноречив был взгляд сдержанной

восточной женщины. Но бабушка, по-прежнему, выходила проводить нас. И стояла, стояла у калитки, пока мы не скрывались из вида. Любила она нас, непутевых.

Во второй половине дома жила баба Рая. Она же худа и подвижна, торопкая, крутая, хотя на два года старше бабушки Фаи. Ходила, слегка склонившись к земле, как будто искала место, где бы прилечь. Лицо нашей бабушки, бабы Фаи, было круглое и плотное, что ярко подчеркивало ее этническую принадлежность, лицо же бабушки Раи вытянуто, и здесь без дополнительных данных не разобраться чьих она кровей. Эти две бабушки были не просто соседками, – подружками с молодости. Часто они вспоминали о своей третьей подруге Лене, и как-то все вздыхая. Со временем я познакомилась и с бабушкой Леной. Вот как. Я, поджидая мужа с работы, вышла за калитку, присела на лавочку. Вскоре вышла за калитку и бабушка Фая, в руке у нее тряпичная, пошитая из лоскутков кримплена, сумка. Я догадалась что в ней лежало. А в ней: литровая банка с супом-лапшой, закрытая пластмассовой тугой крышкой, и несколько беляшей, завернутых вначале в газету, а потом еще в старый платок.

– К Лене схожу...

Я напросилась проводить бабушку, зная, что и эта ноша тяжела для нее. Направились вверх по нашей улице. Тихое ясное, безоблачное небо хрустальным сказочным шатром накрывало землю. Кричал ослик деда Рахматуллы, что жил через дорогу, наискось. Почти до краев наполненный светлой водой, тихо журчал довольный арычок. Всё купалось в сладкоголосом пенье птиц.

Шли-шли и свернули в проулок. Здесь, в проулке, высокий добротный дом, выгодно отличающийся от других. Но забор был облупившимся, – давно не крашен.

– Пошли... – позвала меня бабушка с собой, когда я, отдав ей сумку, собралась уходить.

Мы вошли во двор. Двор был захламлен, везде валялись какие-то предметы: старый стул без сидухи, ведро на боку, сломанная лопата, в углу двора была развалена поленница. Прошли в глубь двора, к небольшому строению без окон. Здесь, в бывшем дровнике, и жила бабушка Лена. Дверь в эту клетушку была открыта; на панцирной старой кровати, – до того старой, что сетка проваливалась до пола, – сидела маленькая шупленькая, похожая на бабушку Раю, старушка. Она оживилась, заулыбалась, оголяя десны. Бабушка Фая взяла табурет, стоящий рядом с клетью, пронесла его в комнатенку. Села бабушка на табурет боком к подруге, так как сесть прямо перед нею не позволяли размеры помещения. Я взяла, валявшееся ведро, перевернув его вверх дном, села рядом с дверным проемом. До меня доносились лишь отрывки фраз.

Шли назад молча. Только опустившись на лавочку у своего дома, бабушка сказала:

– Совсем сдурел Василий...пьет, как собака, Люба терпела-терпела да ушла с детьми... мать вот из дому выгнал, да еще пенсию отбирает. – Качала сокрушённо головой старая женщина. Помолчала и добавила: – Втроем: Лена, Рая, я в одной кибитке от басмачей-разбойников прятались...

Во многих дворах, но не во всех, – ведь город же, – стояли печи-тандыр. В них хозяйки выпекали пресные душистые лепешки; и тонкие, сплюснутые или пузатым почтовым треугольничком, или круглые чебуреки. Запах распространялся на всю округу. Ребятня короткоштаная, черноглазые, сероглазые, голубоглазые, но все, как один, черномазенькие, – одни по природе черномазенькие, другие до той же степени загорелые, безошибочно определяли в каком дворе сегодня пекли лепешки, крутились подле этого дома, ожидая, когда им вынесут свежеиспеченного хлеба, а если расщедрится хозяйка, то и чебуреков.

Кто-нибудь из старших детей хозяйки выносил лепешки, и, если то был сын, куражливо подавал мальчишкам (потому куражливо, что несколько лет назад сам был таким же счастливым); одну обязательно горячую – только что с пылу с жару. Мальчишки, практически,

налету хватали-брали и разламывали, обжигаясь, лепешку, и тут же съедали. Остальной хлеб радостная ватага уносила с собой в свой любимый уголок, под сопку, что начиналась в конце улицы. Они, не останавливаясь, на ходу, срывали зеленую еще алычу. Два-три раза, зажатая в руке, алыча проводилась по глади речушки, и то считалось – помыли. Здесь, под сопкой, начиналось настоящее пиршество. Запасливый какой-нибудь мальчонка доставал из-под камня аккуратно завернутую в газетку соль. Ели, макая кислую ягоду в соль. Откусывал мальчонка алычу, и лицо перекашивало от кислоты; непроизвольно закрывался один глаз, именно, один; вышибало слезу, но откусывал и жевал, опять и опять, до ноя, ломоты в зубах. Передохнет, зажует лепешкой, – хлеб то экономно, в прикуску, – и опять, – алыча, до тупого нытья в зубах – сам отупевший. Остановится, – больно кусать, и уж кажется, не возьмет ни одной ягодки, но едят-наяривают друзья, также кривясь от терпкой вяжущей кислотины и заедая зубное ломатье хлебом, и ему хочется, и рука опять тянется...

... Дворы соседок разъединял невысокий забор. Но следом за забором со стороны бабушки Раи богато, заслоняя обзор, разрослись два гранатовых дерева.

Бабушка Фая держала уразу-пост. За два дня до окончания поста она попросила, чтобы я помогла отнести кастрюлю с тестом к бабушке Рае. У соседки был тандыр, – часто она приносила свежее испеченные лепешки подруге, угощала и нас. Открыв калитку, я остолбенела, потому что увидела чудо-чудное: половину двора занимала... русская печка. А рядом с русской печью расположился тандыр. Он важный и надутый, словно напыщенный восточный мужичок, – охранял русскую красавицу. А печь белой лебедушкой плыла в жарком мареве дня, как наваждение, как зрения обман. Над нею полог, защищающий ее от непогоды, столбики из металлических труб, украшены восточными вензелями. И вокруг цвели розы.

Долго я не могла отделаться от чар и восторга. И уже дома сказала хозяйке: «Бабушку Раю пора раскулачивать... печками, как яблоками, обложились...» Улыбнулась старая женщина, ответила: «Русскую-то мы по большим праздникам растапливаем...»

В эти последние дни уразы весь наш татарский околоток выпекали хлеба в русской печке; многослойные круглые высокие, словно шапки, пироги-губадии; полулунной формы пирожки; картофельные звездами шаньги. Караваном тянулись к дому бабушки Раи женщины, с дочками в помощь, с казанами, кастрюлями, тазиками, – в них сдобное тесто для праздничной выпечки; на больших блюдах – кисайки с начинкой: корт, приготовленный накануне по-татарски в казане из кислого молока; отварной рассыпчатый продолговатый рис; янтарная курага, золотистый изюм, чернослив, мясной жирный, словно с жемчужными белыми вкраплениями, фарш. Назад сосредоточенные и торжественные женщины и их дети несли готовую выпечку, – перед собою, на плече, поставив тазик на бедро, а одна средних лет татарка умело, как тюрбан, несла огромное блюдо на голове. А в след за ними, – сытный духмяный шлейф.

В один из приездов домой, в сибирское село, я рассказывала маме о этой русской печке в жаркой стороне, на татарском подворье. Мама слушала, дивилась, вздыхала с сожалением, свою-то печь она уж лет десять как выбросила, – без надобности стала: хлеб выпекался для селян теперь в огромной хлебопекарне и развозился по окрестным деревням.

Бабушка Фрося, приезжая к нам, ругала маму, дочь свою родную:

– Нюся, ты пошто така-то? Печь выбросила... все вам места мало... за модой погналась, а о старости не подумала, аль думаешь, всю жизнь молода будешь... придет и к тебе старость, и косточки негде будет погреть... Ребятёшки по зиме мокры с улки приходят, а у тебя и лапотье просушить негде. Зять с рыбалки, намерзнется, придет... Ой, Нюся, Нюся...

... Отношения у меня с мужем разладились. Уезжала от него измученная и опустошенная, взяв такси.

Бабушка вышла меня проводить, обнялись, поцеловались на прощанье.

– Может, еще все сладится... – сказала старая женщина. В ее голосе слышались нотки моей родной бабушки, – бабушки Фроси.

Машина тронулась, я, спохватившись, оглянулась: бабушка все стояла у калитки, взгляд выхватил и русскую печь на подворье бабушки Раи, она отдалялась, уплывала лебедушкой.

А в машине играла музыка из балета «Лебединое озеро». На вокзале тоже слышалась та же музыка. Она преследовала меня в тот день. Она преследует меня всю жизнь.

(Опубликован в журнале «Дружба народов» №10, 2015)

Богатая и красивая

Рассказ

Я поссорилась со своей подружкой Ленкой. Причина ссоры была очень серьезной: она скатилась с горки на моих красивых магазинных салазках пять раз, а я на ее санках – только три раза. Это же нечестно, – правда? Мои салазки фабричные легкие, с яркими досочками: две зеленые посередине, а по краям красные, со съёмной спинкой, мечта всех деревенских девчонок. А Ленкины санки в нашей деревенской кузнице дядя Федя-кузнец делал. Они чугунные, тяжелые. И на них не только Ленка с горок катается, но и дядя Петя с тетей Таней, Ленкины папа и мама, воду из колонки во фляге возят, навоз на огород.

Вот и получилось, что Ленка, шустрая, на моих легких саночках прокатилась пять раз. А я пока чугунные на горку затащу, семь потов с меня сходит. Так вот, по моим расчетам (с арифметикой у меня в школе неплохо), с меня должно было сойти еще четырнадцать потов, но Ленка не дала.

– Так нечестно!

– Дура ты!

– Сама дура!

Мы с Ленкой всегда так ругаемся – и в прошлый раз так ругались, и позапрошлый. И ругательные слова у нас складно получаются, ну прямо как октябрятская речёвка на утреннике.

После ругательных слов потащила Ленка свои санки в сторону своего дома, а я свои – повела в сторону своего. Ой, я ведь еще забыла рассказать про городскую красивую веревочку, которая крепится к моим фабричным саночкам: она белая, блестящая, упругая, с пупырышками! А к Ленкиным санкам дядя Петя веревку от старых вожжей привязал, вот.

Наутро, чтобы наказать Ленку, я взяла с собою трехлетнюю сестренку Наташку и отправилась к Светке Илюшиной, однокласснице.

Как примерная старшая сестра, я вела сестренку, крепко держа её за руку. План мщения у меня созрел с вечера: во-первых, идти надо было мимо Ленкиных окон – пусть смотрит и от зависти лопается, что я пошла к Светке; во-вторых, иду с сестренкой. Мне Ленка уже сто лет приговаривает, что папка с мамкой ей скоро братика *выродят*. Когда это случится – еще неизвестно, а у меня уже сестренка есть! Я-то знаю, почему Ленка мне приговаривает: Чегой-то Наташка за тобой, как хвостик, таскается? Ей просто завидно!

Раньше я с Ленкой соглашалась и от этого надоевшего «хвостика» избавлялась. А сегодня: смотри, Ленка, какие мы дружные с сестрёнкой, идём, за руки держимся, и вообще, мы с тобою не дружим, а дружим со Светкой! При этом я немного побаивалась проходить мимо Ленкиного дома или поколотит, или уже не дуется и позовет к себе. Хоть бы еще немного подулась.

Мы старательно и долго обметали голиком валенки на крыльце илюшинского дома, потому что мне казалось – или мне так хотелось? – чтобы Ленка за нами подсматривала. А я ведь вся такая правильная с сегодняшнего дня. Ну и что, что мамка вчера вечером (это же было вчера!) дважды возвращала меня на крыльцо обмести валенки *как следует*, приговаривая: Ну что ты как махаек, тяп-ляп, и пошла.

– Здравствуйте, – сказала я громко, как меня учили, войдя в избу.

– Здласти-ти, – сказала чуть потише Наташка.

В ответ нас никто не поприветствовал. И только когда рассеялось облако холода, которое затащили с собой, мы увидели, что в избе никого нет. Пройти и заглянуть в горницу не насмелились, так и стояли у двери, нежданные, незванные, как часовые, каждый у своего косяка, пока – ну наконец-то! – не вошла тетка Вера, мамка Светы.

– Здравствуйте... Здласти-ти... – повторили мы свое приветствие. Я была немного недовольна этим приветствием: не так складно и не так громко получилось, как первый раз.

– Вас за чем-нибудь мама послала?

– Не-а, – сказала я, – пришли к Свете поиграть.

– Поиграть, – вторила, хлюпая носом, отпотевшим после улицы, Наташка.

– А Света еще спит, – проговорила мама и, приоткрыв дверь в горенку, окликнула: – Света, вставай, подруги пришли.

Довольные, что нас не прогнали, не отправили восвояси, мы быстро *расчембарились*, сложив аккуратно свои вещи на лавку, стоящую у печи. Озираясь, вошли в горницу.

Над никелированной блестящей кроватью Светы (золотая! – решили мы с Наташкой; для нас все, что блестело, было золотым) висел красивый ковер. Только у богатых может быть такой красивый ковер, – подумала я и шепотом сказала об этом Наташке. Сестренка согласилась, кивнув головой, и ближе подошла к кровати, чтобы лучше рассмотреть ковер.

На его клеенчатой основе были нарисованы кипарисы, деревья, растущие в далекой-далекой стороне. А среди этих деревьев красивая-раскрасивая Красавица. Волосы ее, цветом такие же, как перышки у вороны, волнами лежали на плечах, глаза были огромными, ресницы длинными, губы фантиком, как и положено быть у красавиц. Бабушка Фрося такие губы называла *сковородником*. Да ну ее, бабушку!..

Небо над головой Красавицы было темно-синим, на нем – месяц золотой и звезды, звезды... Сама девица в длинном, как у царевны-королевы, платье розового цвета и в красных туфлях на высоком каблуке. Почему-то мне, совсем некстати, вспомнилась бабушкина частушка-припевушка, которую она пела на гулянках, притопывая комнатными мягкими тапочками:

– Вот она, да вот она,

Вот она – да вышла:

На высоких кублуках,

Стала никудышна!

Девица-красавица гуляла по саду-огороду туда-сюда, немного грустная, и, как будто, кого-то ожидая.

У нас дома над моей кроватью тоже висит клеенчатый ковер. Художник изобразил на нем оленье семейство: олениху-маму, олененочка-сынка и оленя-папу. По зеленой траве, среди сосен и берез, мирно и беззаботно гуляет ребенок-оленок, мама-олениха смотрит на папу-оленя огромными глазами, а папа чутко прислушивается своими наостренными ушками, затерянными среди ветвистых рогов, не идет ли охотник, не крадется ли волк. Я их так люблю, своих оленей! И сама тоже всегда вглядываюсь в глубину нарисованного леса: не идет ли охотник, не крадется ли волк, – чтобы успеть предупредить.

* * *

Дома, за обедом, мать спросила меня:

– Куда-то вы давеча ходили в край, уж не к Илюшиным ли? Сама пошла, да еще и Наталью за собой потащила. Чтоб я больше не видела, что вы туда ходите! Нашла тоже подругу. Не ровня они нам!

Отец вмешался:

– Ну что несёшь, Анна: ровня, не ровня. Пусть дружит, с кем хочет, к кому душа лежит.

– Сама Илюшиха за столько лет ни разу со мною не обопнула. Процедит сквозь зубы нехотя: «Здрассти», и побежит, каблуками выщёлкивая. Что я ей сделала, что морду воротит, как взнузданная лошадь? Да и ни с кем она не дружит из деревенских баб, а уж живут в деревне

лет шесть, если не боле. Понятно! – другого коленкору. И сам такой же. Подумаешь, парторг! Бога-а-атые – гордые.

* * *

В следующий раз я побывала в доме Илюшиных только через несколько лет. Светка по-прежнему ни с кем, как и её мамаша, не дружила, но и не ссорилась, держалась особняком. Мы тогда учились уже в восьмом классе. В школьной библиотеке не хватило на всех «Преступления и наказания», школьная библиотекарша Варвара Юрьевна, Варвара-Коса, выдавала один экземпляр книги на двоих. Ленка должна была читать поочередно со Славкой Ядриным; я – со Светкой Илюшиной. Учеников закрепили за каждой книгой, чтобы уловок-оправданий о том, что не успел прочитать, потому что в библиотеке книги не хватило, не было.

Когда я зашла в дом к Илюшиным, Светка мыла пол, если это вообще можно было назвать мытьем полов. Своей белой тоненькой ручкой, сидя на корточках, она нежно гладила маленькую, с носовой платок, тряпочкой половицы. Меня бы за такое «мытьё» мать прибила бы!

– Свет, я за книгой.

– Там, на столе возьми, – махнула Светка в сторону своей комнаты.

Над её все той же, но уже не золотой кроватью (я все же поумнела) висел новый ковер. Бархатный, яркий, восточный мотив: барышню-красавицу украли и увозят вдаль чернявые восточные ребята. А там, вдали, как водится, среди раскидистых пальм виднеется замок. Оранжевый знойный фон, тёмное небо, а на нём месяц золотой и звезды, звезды... Всадники выкрали Красавицу из сада-огорода и мчат её навстречу счастью и большой любви. А Красавица изящно, как и положено красавицам, сидит на коне рядом с джигитом, слегка прижавшись к нему плечиком. На голове девушки легкая, струящаяся на ветру накидка, скрывающая её лицо. Но я догадываюсь, нет, я просто уверена, что это та самая Красавица, которая ходила гуляла среди кипарисов на клеёнчатом ковре!

* * *

Над моей кроватью все тот же ковер, с оленями. Уберегла я их от охотника и злого волка, да они и не покушались на моих оленей, видя из глубины леса, как я и олень-папа охраняем покой семейства. Щёлкнет злой волк зубами, спрячет ружье охотник – и уйдут восвосяи. Только однажды, когда я болела корью, мне приснился страшный сон, что волк съел моих оленей. Ужас заставил меня проснуться – слава богу! – живы!

Со временем пообтерлась, осыпалась краска с папаши-оленья. Наталья, сестричка, посмеивалась: облупилась краска на боку оленя, – линяет твой олень; стерлась краска на траве, – олени травку съели. Это соцреализм, сестра, – чего ж хочешь?!

Эта ирония была поводом очередной раз побеситься, побегать друг за другом вокруг важно расположившегося посреди горницы большого круглого стола. Вот только перед этим чернильницу со стола убрать надо.

* * *

В десятом классе в Светку влюбился Славка Ядрин. Грех было не влюбиться – хороша была Света: высокая, стройная, лицом белая, вроде и не деревенская. Одевалась она по-городскому. С седьмого класса ходила с прической «конский хвост», с чёлкой. За этот чуждый «буржуазный» хвост и чёлку, которая нависала над ясными комсомольскими очами Светки и мешала смотреть в светлую коммунистическую *близь*, влетело ей от классной руководительницы Людмилы Васильевны, Люси.

– И вообще, ты же дочь парторга колхоза, должна быть примером во всём! – сказала Люся, завершая свой монолог.

Светка молча выслушала Люсю, низко опустив свою головку на тоненькой шейке, и пошла себе дальше гулять.

Однажды Славка каким-то образом уболтал Светку, и они весь вечер простояли у калитки Илюшиных. Соседская пузатая ребятня, чуткая к таким вещам, прыгая вокруг них, уже кричала:

– Жених и невеста, тили-тили тесто, жених и невеста!

Славка, довольный, улыбался и лишь для приличия шугал детвору.

А утром на заборе Илюшиных красовалась надпись: «Света+Слава». Светка взяла краску и дописала: «КПСС». Получилось: «Света+Слава КПСС». И правильно, на заборе парторга колхоза только такие надписи и должны быть. Ну а Славкины иллюзии лопнули, как надувные шарики на демонстрации.

* * *

Прошло время. Славка, Вячеслав Ядрин, стал моим мужем. У нас растёт сын. Над нашей кроватью висит портрет Есенина, выжженный на досочке.

Ленка, подружка верная моя, учась в Новосибирске, вышла замуж за однокурсника. Светка, окончив институт и вернувшись в родное село, работала в конторе колхоза. Вышла замуж она за свою *ровню*, сосватал её сынок председателя соседнего колхоза.

На свадьбе молодоженам подарили персидский ковёр. Сама я не видела, но, говорят, красоты неописуемой.

По ягоды

Рассказ

– Татьяна, – окликнула-позвала женщина через тын, вешая на него кринку.

– Иду, тетя Лена, – отозвалась с соседнего двора девочка лет десяти.

Она через минуту-другую была уже во дворе дома тетки Елены. На его крыльце появился Санька. Видно, только что с постели. Волосы всклокочены. До конца не проснулся, один глаз прикрыт, другой – щурится от яркого утреннего солнца. Он, было, сделал уж известное мальчишеское движение, чтобы проделать не менее известное действие прямо с крыльца, да вовремя заметил постороннего в ограде. Свои цыплячьи ножки сунул в, стоящие на крыльце, огромные пимные калоши, потянул их за собою, направляясь в сарай. Через минуту мальчик вернулся, собрался, было, войти уж в сени, да развернулся к девочке и показал ей язык. Пытался высунуть подлиннее, так как не всё положенное выдал сегодня Санька. Таня не получит от него тумака. Лень с крыльца спускаться.

Для чего так делал Санька, он не знал. Ванька-друг говорит, что так надо, так положено – колотить и дразнить девчонок, этих пискуний. Вот только Федька, брат старший, что-то Таньку боится, всегда глаза опускает, когда её увидит, а ведь сам сильный, уже с отцом на работу ходит.

Мать заметила проделки сына:

– Санька, березовой каши захотел?

Попыталась его ухватить да ладошкой хоть шлёпнуть. Сонный-сонный, а вывернулся. Мать ему вдогонку:

– Иди, досыпай. Да помни, о чем с вечера наказывала.

– Ох, безобразник, – качала головой Елена, таким образом, прося прощения у девочки.

– Вот мужиков своих в поле проводила, да решила, пораньше пойдем, пока жара не поднялась.

А собрались они в этот ранний утренний час по ягоды. Решили идти огородами, а не улицей, чтобы не сказываться всем.

Шли между картофельными грядками. Елена по-хозяйски вырывала, попадавшую, в уже кое-где пожухлой ботве, траву. В конце огорода она подхватила подол юбки – как бы не зацепиться ею за сук – одной ногой встала на нижнюю пряслину, перекинула свое ещё гибкое, но уже полнеющее тело через изгородь. Охнула-ахнула, скрипнула жёрдочка под телом Елены, прогнулась и тут же выпрямилась. Мелькнули и скрылись под подолом округлые ее колени, что те же ядреные картофелины с ямочками в добрый урожайный год. Мелькнули, как миру улыбнулись, её красивые колени. Скрылись. Укрылись: заученным стыдливым движением одёрнула подол юбки Елена. Девочка прошмыгнула следом за женщиной между двумя нижними жердинами.

Споро и красиво шла женщина. Рядом, словно ягненок подле матки, отставая, догоняя и забегая вперед – девочка. Шли напрямик через кошенину, направляясь к дальним Родичкиным колкам, исконно смородишным местам.

Августовский день вступал в свои права. Редкие комары, успевшие просушить свои крылышки после утренней росы, не замечались. Легкий ветерок отдувал их. Привычно пели птицы, лениво прыгала еще молчаливая саранча: не успела настроить свой инструмент, отсыревший за ночь. То там, то здесь торчали нескошенными будылья одуванчиков – уже давно облетели, как голова иного мужика к закату жизни.

Стерня на пригорках была похожа цветом на Санькины волосы, также выцветшие к концу лета. В низинах же трава вновь поднялась, хоть снова коси. Скирды, стога, стожки, копны – то там, то здесь, по всей площадке – радовали.

Шли, молча, занятые каждый своими мыслями. Только иногда Елена спрашивала девочку: Не устала? Татьяна, улыгнувшись, мотала головой: мол, нет, тетя Лена.

Вот за это и любила Елена ходить с ней по ягоды: ни жалоб тебе на усталость, ни нытья на жару да комарье. Пить захочет Татьяна, Елена её из любой лягины напоит. Пригубит девочка через платок, чтоб какая соринка, комаринка в рот не попала, водицы, да и опять за дело. Изредка Елена срывала, какую травинку или цветок неброский какой, говорила, как называется, как используется в народе: отвар ли заварить, к болячке ли приложить. Что сама знала, тем и делилась с девочкой.

А открыла она для себя Татьяну, как хорошую ягодницу, ещё в прошлом году. Бабка Аксинья, соседка, упростила взять её с собой. Сама-то она уже отходилась. Выдохлась. В третьем году ещё мало-мальски ползала. А в прошлом году ноги уж совсем отказали. А без ягоды в зиму малому да старому – никак нельзя.

Татьяна росла сиротой. Родители её во время раскулачивания сгинули: выслали их, а куда – неизвестно, ни слуху ни духу от них никакого с тех пор. Воспитывала её бабка Аксинья, дальняя родственница по отцу.

Скудно они жили. В нужде. Жалела их Елена и, как могла, помогала. Стряпню заводила, всегда угощала соседку: «Тетка Аксинья, попробуйте: по-моему, тесто не совсем удалось. Чего не хватает?» Всегда находила причину угостить старого да малого, то во сне кого увидела из умерших родственников, – подавала милостыню на полном основании за упокой души, то рыбкой делилась, – ловил её муженек Архип. И опять с приговоркой: устала, мол, чистить и пласть её.

Аксинья, знающая жизнь, была благодарна Елене за то, что без унижения она всё это делала, не ломала человека, не скребла по душе своей жалостью.

...Нонче как-то Елена взяла своего младшенького, Саньку, по ягоды, за клубникой. Попервости, вроде, ничего, целую кружку нарвал. Высыпал матери в лукошко. На том и выпрягся. Ну, хоть бы, сорванец, рвал да ел. Ан, нет! Удумал по деревьям лазить. Штанину порвал. Руки, ноги в кровь исцарапал. Того и гляди, свалится, голову свернет. Толи ягоду ей брать, то ли за ним следить?! С тех пор и зареклась Елена брать его по ягоды. Да и невелик еще ягожник, шестой лишь годок.

Татьяна – дело другое. Скорой в ходьбе, спорой в сборе ягод оказалась девочка. Через хватку её чувствовалась будущая женщина, хозяйка. Елену с вечера по ягоду звали бабы-соседки: мол, гуртом веселее. Не захотела. С Таней договорилась.

С некоторых пор Елена стала тяготиться людей, – то ли немолода уже, то ли устала за последние годы, – всё на людях да на людях. Колхозная жизнь давала о себе знать. Бывало, в девках, да уж и в замужестве первые годы, не пропустит гулянья-вечёрки. Хлебом не корми, дай поплясать, попеть. А пела-то как! Одна нога еще на берегу, другая – над лодкой, а голос Елены, что та же реченька, разливается.

Вот миновали злополучный Ильинский колок.

– Этот лес смородишный. Но нечистое с некоторых пор это место. Слышала, небось, что приведение здесь водится, – обратилась Елена к девочке.

– Да, тетя Лена, слышала. И знаю, почему здесь приведение бродит. Кузнецовы на днях бычка потеряли. Сенька бегал, искал, всю округу спознал, и здесь был. Говорит: видел.

... Через редколесье проглядывалась поляна, на которой колчаковская банда устроила здесь свое чёрное дело. Согнали тогда всю деревню. Повесили ни за что, ни про что Марию Стафиевскую да дядьку Федю Журавлева. Все каких-то *большаков* искали. В стороне от больших дорог и событий была деревня. И никто не знал, где их взять-то этих *большаков*. Может, и беды такой бы не было. Это потом, когда уже из волости приехали и сказали, что здесь будет советская власть, и над избой купца Зюзкина красный коленкорový лоскут повесили, а самого

Зюзкина в амбар с семьей переселили, – вот тогда немного стало понятно, кто такие *большаки*, и то не совсем.

А коленкор-то тот, что над зюзкиным пятистенником парусинился, Илюхины с радостью одолжили.

Беда у них с этим кумачом, да и только. Извёл всех илюхинских баб (да и мужиков тоже) дед Анисим, глава этой большой семьи. Жену свою, покойницу, все в красное одевал. Другого цвета и знать не знал. Уж старый был, под девяносто, бывало, месяцами с печи не слезал, а как время подойдет, в волость на базар ехать, за три дня с печи слезет: ноги разминает да гребнем бороду чешет.

Нюрка, подружка Елены, так, та рёвом редела: не надену красную юбку. Бабы уж и так и сяк к деду Анисиму. А он только: Цыц, бабы! И весь разговор, и все у него доводы. Уж на деревне, сколько рассказов-сказок про илюхинских червонных баб было сочинено. А ему все нипочем. Уж мужики крадучась от него в волость собирались, а он, как сорочьи яйца пьет, учует. Как карангуль закарячется на подводу, – и хоть что с ним делай. Люди: «Вон дед Анисим опять бабам за слезами в город поехал».

...Невесело было возвращаться домой. На треть наполненная корзина мелкой, как мошка, полузрелой ягодой, не радовала. Елена даже в рот ни одной не положила, не испробовала. Видно, не смородишный нынче год. Досада разбирала её за потерянный день: лучше б, что по дому поделала.

Поравнялись с Ильинским колком. Елена вспомнила, как в детстве, они в этот лес, как на прогулку по ягоды бегали, благо он недалеко от деревни. Бывало, мать только скажет: «Завтра пирогов смородишных буду стряпать». Хотя знает, что дома ни ягодки. А ребятня уже понимает, это мать наказ даёт, по ягоды сходить. Вся деревенская детвора в этом колке так и спасалась. Взрослые туда уж и не ходили. Но с тех пор, как там повесили тетку Марью да дядю Федю, туда никто не ходил.

«А не зайти-ка нам?» – подумала Елена. А ноги уже сами свернули с тропинки. Она поймала на себе недоуменно-вопросительный взгляд Татьяны. Ободряюще улыбнулась ей женщина в ответ.

На опушке леса стояла одинокая берёза. Некогда стройная, она сейчас низко склонилась к земле. Её тогда выбрали для своих злодеяний бандиты. Надругались не только над людьми, но и над нею.

Приняв на себя людской позор и горе, она словно всю вину брала на себя, год от года всё ниже и ниже клонилась к земле. Милая, – мысленно обратилась к ней Елена, – не ты, так другая, ты здесь не причем, это всё людская злоба. Елена, молча, достала краюху недоеденного хлеба (брала ради Татьяны), отломила от неё кусочек, раскрошила его подле дерева.

Продираясь через густые кусты тальника, вошли они в лес. Женщина со времени своего детства помнила, в какой части колка росли смородишные кусты. Она решительно повела туда девочку. Но не прошли они и несколько шагов, перед ними – смородишник. За годы, что не ступала здесь нога человека, ягодник разросся, почти, по всему лесу.

Кусты были усыпаны ягодой. Чернота ягод скрадывала глаза. Выспевшие ягоды были покрыты матовым налётом, и впечатление было такое, словно кусты дымились. Усталые томные ветки клонились от тяжести к земле. Ягода манила к себе, как те чёрные обманные глаза красивого цыгана.

Радостно забилося сердце женщины, её охватил ягодный азарт. Но вопреки этому внутреннему азарту, движения женщины стали нарочито ленивы. Не торопясь, перевязала она платок, поправила растрепавшиеся волосы; примяла подле кустов крапиву, траву. Пристроила

возле себя девочку. Окинула взглядом, насколько позволял лес, кусты смородины, и только после этого она приступила к работе.

От лёгкого прикосновения руки зрелые ягоды, словно бусинки-корольки с нитки, сыпались в корзину. Такую ягоду можно вслепую собирать. Елена, умиротворенная, с чувством сладкой истомы в душе, любовалась, как ядрёные, крупные ягоды падали в лукошко. Впервые она пожалела, что корзина наполняется так быстро. Как всегда, молча, от ветки к ветке, наполняла свою корзину Таня.

... Вдруг подле колка послышались голоса. Это ягодники возвращались из дальних колков. Видно, в Родичкиных местах тоже побывали. Вёдра и лукошки у них были пустыми, – Елена это сразу поняла. Полные вёдра слегка поскрипывают душками, а здесь они пустобрехничали, как балалайка соседа Кольки; а корзины полные, – те вообще молчуны, ну разве которая скрипнет, словно кошечка мяукнет. Сейчас слышался их утробный пустой звук.

Женщина и девочка переглянулись. Елену охватило чувство досады и страха, что женщины могут войти в этот лес. И тогда, прощай это упоение.

Минуту-другую Елена, не шевелясь, сидела на корточках. Затем порывистым движением встала. Скинула с себя верхнюю одежду. Оставшись в исподней рубаше, она заученными движениями распустила косу, в несколько торопливых движений рассыпала волосы по плечам. И двинулась к опушке леса.

– У-у-у, – разнеслось по опушке.

При-ви-де-ние!

Бабы, что есть мочи, понеслись к деревне, гремя котелками, теряя лукошки.

И хотя на следующий день Елена сама сказала, где брала смородину, и вся деревня натаскала ягоды из этого колка, – люди буквально черпали ягоду вёдрами. Умудрялись ходить даже с коромыслом по два раза в день, как в старые добрые времена. Но долгие годы в деревне будут вспоминать, перебирая все подробности этого случая, присочинив, а то и откровенно приврав.

И немудрено: русский человек охоч до всяких сказок-небылиц, таинств и чудес.

Подруги

Рассказ

Аксинья Сергеевна – старуха, ей далеко уже за восемьдесят – сидела на крыльце, на маленьком детском табурете, сама не знала, то ли грелась на солнце, то ли морозилась: сентябрьское солнце уже скупое, а вот снизу, из-под крыльца, уже тянет холодком.

В калитку протиснулась подруга, Елена Фроловна, занесла свое большое тело во двор, закричала:

– Здорова, подруга.

– Это ты, Ялена? Солнышко в глаза светит, вижу, кто-то вошел, а кто – не могу признать, – слукавила старая женщина, потому что знала, что так широко, чтобы калиточка о забор торкнулась, открывает её только подруга. Ох и широкая баба – эта *Ялена!*.. Лукавила же старуха, чтобы скрыть радость, – три дня не видела подругу, соскучилась.

– Я-то здорова, а вот ты как? – Сергеевна ответила про здоровье так, при её-то колотье в боку, болях в спине, немевших ногах и руках, не обманув подругу, потому что с этими болячками стерпелась, сроднилась, так, что, если поутру, прислушиваясь к себе, не ощущала новых болей, считала себя здоровой.

– Скоко дён тебя не видела, думала, уж не захворала ли... Думаю, Митрий со школы придёт, – пошлю узнать.

– Я ж тебе говорила, что в тот край поеду пожить, к внучке Марине. Ей в город по делам надо было срочно съездить, вот я и оставалась с правнуком водиться. Домовничали мы с правнучком Вовой эти три дня, – явно выхвалялась перед подругой Фроловна, приговаривая нараспев. Сергеевна подруженьку «*на скрозь*» знала, все повадки, выкомурки её понимала.

Подстелив вязаный кружок, что лежал для обтирки ног на крыльце, Фроловна умастилась у ног Сергеевны, *расштерившись*, как пшеничный сноп на поле в годы их молодости. Перевела дух, и продолжила напевать:

– Сам-то, зять Андрей, целый день на работе, в поле, а мы с Вовой хозяйничали. Да хозяйка-то я уже никака. К вечеру ждала зятя с поля, супчик сварила, а ему не по вкусу, ел без аппетита.

Посторонний человек из сказанного сделал бы вывод, что сокрушается она – мол, разучилась готовить. Так мог подумать человек сторонний, но не Аксинья. Та знала, что имеет в виду подруга: я-то еще готовлю, а тебя твоя доченька к плите уже не подпускает! В другой бы раз она перевела разговор на другое, но, соскучившись по подруге, с готовностью подхватила:

– Да какой с нас теперь спрос... Вот я другой раз что захочу поделатъ, а не получатся, как раньше. *Поспеху* уж нет и уменье куда-то делось, да и слепотья я, совсем ничего видеть не стала.

– Вот и я так же – совсем ничего не вижу, – будто переняла подруга у подруги прялочку, и продолжила пряхть ту же нить Елена.

Помолчали, утолив голод общения. Хорошо так, дружно, в охотку помолчали, ощущая сердечное мление и теплоту, которая разливалась внутри от присутствия друг друга.

– А правнучек-то хороший, справный мальчонка, девятый уж месяц пошёл... Чижо-олый! – нетуть силов у меня его подымать. Лазит уже кругом, ходить ещё только норовит, а шустра-а-ай...

Дружили Фроловна и Сергеевна с детства, и соревнование у них промеж собой – тоже с детства: кто быстрее добежит, кто скорее лукошко смородины наберёт; потом – кто больше снопов навяжет... А уж когда вышли замуж, – кто больше детишек народит. Война прервала это социалистическое соревнование, война сравняла во всем: сначала Аксинья, а следом и Елена

рвали на себе, получив похоронки на мужей, кофточка – обе в двадцать девять лет остались вдовыми.

В войну Аксинья с Еленой ребятишек своих не делили на *твои-мои*, делили меж ними кусочки хлеба, только так и выжили. А со временем снова размежевались, незаметно для себя. А теперь вот соревновались, у кого внуков-правнуков больше, у кого те лучше и краше, – все они пересчитаны и все, как один, возведены на пьедесталы.

– Вот и у нас Степан такой же был, – побила козырем Аксинья карту подружки (Степану уж девятнадцатый год пошёл, и он учился аж в самой Москве) и, помолчав, добавила совсем нейтральное: – За ними в этом возрасте глаз да глаз надо.

Фроловна тоже знала свою подружку, знала и то, что та сейчас позволяет ей немного похвалиться, погордиться своими внуками-правнуками.

Увидев на крыльце людей, прибежали куры: может, чем пощастливится поживиться. Человек, он ведь такой: что-нибудь да бросит, семечко или зёрнышко какое. Аксинья Сергеевна замахала на них батожком:

– Кыш, пошли, холеры, *отседова!* Нагадут ещё у крыльца... Вот ведь ненасытные – только что им Анна зерна сыпала.

– Насилу дождалась, когда Марина из города приедет. И как они живут в этой *этажке* – земли под ногами не чувят... Озолоти меня – ни за что бы там жить не согласилась. Ни огорода, ни сарая – клетушечку им, правда, каку-то выделили в общем амбарчике, чуть поболее собачьей конуры, так банны веники тама держут, да зять снасти свои рыбацкие развесил. За молоком – к папе-маме, картошку у меня содят, ко мне в голбец и ссыпают; увезут ведра два, съедят – опять.

В деревне лет пять назад построили двухэтажный дом со всеми удобствами для деревенской интеллигенции, а полемика о комфортабельности этого жилища меж сельчанами всё не затихала.

– Зато культура... – обронила нехотя, и как бы между прочим, Аксинья Сергеевна. Уже ни раз меж ними такой разговор был, уж ни единожды Сергеевна использовала этот речевой оборот, выводя тем самым подружку на новый виток разговора, а уж поговорить-то ей хотелось.

– Да кака там культура? Ты же ездила к внучке Татьяне в Новосибирск, когда могучная была, видела... Культу-у-ура! Рази это культура? – туалет рядом с обеденным столом... Тьфу, срамота. То ли дело в своем доме, на улке. Пошёл, опростался, промялся и проветрился заодно.

Анна вышла на крыльцо, поздоровавшись с крёстной, взяла вёдра, опрокинутые, они сушились на лавочке, собралась по воду.

– Как к дочке-то, Татьяне, съездили? – спросила участливо крестницу осведомлённая в том Фроловна.

– Съездили... – ответила Анна.

Не удовлетворена была Фроловна таким ответом Анны. Да за такой ответ и в школе неудовлетворительную оценку ставят. Поджала губки Фроловна, да так, что они, из-за отсутствия некоторых зубов, спрятались во рту. Выждала она, когда за Анной закроется калитка, проговорила:

– Кака-то Анна сёдня не така, и глаза вроде припухли... Случилось чего?

Выдержала нужную паузу Аксинья, чтоб больший интерес подогреть в подружке, но рассказать о случившемся в семье её давно так и подмывало, особых секретов она всё равно не выдаст, почти все в деревне знают о *чепэ* в их доме. Только Фроловна, просидев на втором этаже и лишь выглядывая в окошечко, как кукушка в часах, все пропустила.

– Миколая она потеряла.

– Да как потеряла? – вон он, в огороде, я отселя вижу: ботву в кучу сгребат.

– Добрые люди нашли, кум Константин привёз.

– Осподи, осподи, да как это? – ударила себя Фроловна руками, как курица крыльями, пытаюсь взлететь. – Хотя в Новосибирске немудрено: не иголка, а потеряшься... Аль по пьяни?

– Ты ж, Ялена, знашь, что он у нас не пьющий, рази маненько когда. Не в Новосибирске, а по дороге уж домой. Уже немолодые – Анне шестьдесят два скоро минет, Миколай на год постарше её, – а чего-нибудь да учудят.

Перевалившись с боку на другой, Фроловна словно высвободила из-под себя донце-подгузок прялочки; и в самом деле – теперь черёд Сергеевны нить разговора вести. А Фроловна прислонилась спиной к крылечному столбику, приготовилась слушать.

Разомлевшая, посоловевшая Аксинья – солнце сегодня расщедрилось-раскочегарилось, поди, думает, дай, старушонок, на крылечке усевшихся, побалую – сняла тёплый полушалок с головы, положила его на колени, начала:

– Погостили оне у Татьяны с Виктором хорошо, – она деловито, фасонисто провела указательным и большим пальцем по уголкам рта, продолжив: – С внуками понянчились. Ляксандр уж большой, два года через месяц будет, уж все говорит и стишки рассказывают. Маленькая Таня – внучка им, правнучка моя – во второй класс ходит, учится хорошо, на одни пятёрки – вся в меня, острая умом. Мне б один годок в школу походить, я б уж точно продавцом в сельпо могла робить. Да тятя в школу меня не отпустил – четверёх братьев надо было учить, а на меня уж средств не хватило, да и маме по дому помогать надо было. Я, как и ты, Ялена, только расписываться и умею... одну букву *сы* и знаю, как писать... Нет, вру, букву *а* я сама, ещё до замужества научилась. А вот расписываться муж меня научил. Каку гумажку подписать – *сы* напишу да кренделек приделаю. Это все меня покойный Степан учил: пиши, говорит, после буквы крендель, а я ему – да не умею я. А он: стряпать же умеешь, так и карандашом на гумаге пиши. Так и научил расписываться, царство ему небесное!

«Рассказывают, будто я этого не знаю, – возмушалось всё внутри Елены. – Уж, поди, и забыла старая карга, о чем и рассказать собиралась... Будто я не знаю, как её, бестолковую, учил Степан. Сроду она така была – только бы похвалиться, только бы *помянуть*...»

– Анна ситцу мне да себе на платья купила... Потом как-нибудь, когда Анны дома не будет, покажу. Тебе она на день рождения платок купила, но не вздумай выдать, что я сказала. Вот колеса к мотоциклу не купили. Дих... дих... *дихицим!* – попыталась сказать культурное городское слово, услышанное от внуков, Аксинья, но не получилось у неё по-культурному, поэтому она проговорила по-обыкновенному, слегка замешкавшись и покосившись на Фроловну – не догадалась ли та о её конфузе – нетуть их и тама.

Но Фроловна на это «дих-дих» подумала, что в горле у Аксиньи запершило, но как-то чудно першило, по-городскому, видать. Ох, уж эта Аксинья – в город зять с дочерью ездили, а заподкашливала по-городскому она!

– С неделю оне гостевали в Новосибирске. Я им так и наказывала, чтобы погостили – в огороде всё убрано, только капуста осталась, ну так ей до заморозков сидеть; корову Саулиха подоит; печь в доме топить ещё не надо, – гостите! Вот с неделю оне тама и побыли. Взяли билет на ляктричку – и домой. Едут, чё не ехать: сиди да в окошечко поглядывай – и вожжой шевелить не надо. Поезд энтот останавливается, где ему положено, люди выходят и входят, как и положено.

На станции Каргат Миколай говорит Анне – мол, выйду, свежим воздухом подышу. Выйди, подыши, чё не подышат, другие ж культурные люди дышат – и ты сходи. Вышел... нет и нет его, вот уж и отправление поезда объявляют. Тронулись. Анна в рёв: старик мой пропал, ой-ё-ё! Все подходят, смотрят: старуха белугой ревьёт, старика потеряла, а помочь никто ничем не может. Потом уж проводница подошла, расспросила, что да как, успокоила: мол, по своей связи передадим в милицию, в Каргат, не волнуйтесь, бабушка, найдут вашего старика.

Приехала Анна в Барабинск. Автобус деревенский подошел, Анна села, приехала в Зюзю, домой. Я вот так же на крылечке сижу, гляжу: идёт Анна, одна идёт, вся урёвана. Спрашиваю:

«А Миколай-то где?» – «Потеряла» – говорит. «Как потеряла? Он что, копейка, что ли?!» – «Ой, мать, не спрашивай...» А у самой концы платка мокрешёнки, хоть выжимай.

Как села она у окна, так и просидела до вечера, словно девка на выданье, *принца* своего выглядывая; и свет в избе не зажгла, и задергашки на окнах не задёрнула – до тех пор сидела, пока кум Константин не подъехал. Глядим, из машины Миколай выходит – живой, здоровый, но какой-то сумрачный, маненько не в духе. Свет-то от фонаря на столбе прямо на него падал, вот мы и рассмотрели. Константин-то чайку выпил – и назад домой, завтра ему на работу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.